



ПЛАТОН

**ФИЛОСОФИЯ
КАК ВЫСШЕЕ УДОВОЛЬСТВИЕ**

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Платон

**Философия как
высшее удовольствие**

«Издательство АСТ»

428 до н.э.— 348 до н.э.

УДК 1(091)"652"
ББК 87.3(0)

Платон

Философия как высшее удовольствие / Платон — «Издательство АСТ», 428 до н.э.— 348 до н.э. — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-183807-2

Платон Афинский — древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля. Именно с Платона философия формируется как система знания. Что есть благо человека? Что дает ему радость бытия и удовольствие от жизни? Об этих понятиях рассуждает философ в диалоге «Филеб», отстаивая мнение, что высшее удовольствие человека — философские размышления. Ибо только находя удовольствие в этом, подобно Гегелю, имея вкус к диалектике и любовь к метафизике, можно углубиться в логику «Парменида», понять природу знания в «Теэтете» и «Кратиле», рассуждать о законах в «Миносе», о справедливости в «Кли-тофоне», «Гиппархе» и «Соперниках». В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 1(091)"652"

ББК 87.3(0)

ISBN 978-5-17-183807-2

© Платон, 428 до н.э.— 348 до н.э.
© Издательство АСТ, 428 до н.э.— 348
до н.э.

Содержание

Парменид	6
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Платон

Философия как высшее удовольствие

Серия «Эксклюзивная классика»

Перевод с древнегреческого *В. Карпова*



© ООО «Издательство АСТ», 2026

Парменид

ЛИЦА РАЗГОВАРИВАЮЩИЕ: **КЕФАЛ, АДИМАНТ, АНТИФОН, ГЛАВКОН, ПИФОДОР, СОКРАТ, ЗЕНОН, ПАРМЕНИД, АРИСТОТЕЛЬ.**

Прибыв с родины, из Клазомен, в Афины, мы встретились на площади с Адимантом и Главконом^[1]; и Адимант, взяв меня за руку, сказал:

– Здравствуй, Кефал^[2], и говори, не нужно ли тебе здесь чего-нибудь, что находится в нашем распоряжении.

– Да я за тем-то и пришел сюда, чтобы просить вас, – был мой ответ.

– Так не угодно ли^[3] объявить свою просьбу, – сказал он.

И я начал:

– Как звали вашего брата одной с вами матери? Я не припомню. Он был еще в детстве, когда я приезжал сюда раньше из Клазомен. С той поры протекло уже много времени. Ведь отца, кажется, зовут Перилампом?^[4]

– Конечно, – отвечал он, – а его-то Антифоном. Но к чему этот вопрос?

– Это – мои сограждане, – сказал я, – большие философы; они слышали, что этот Антифон часто ходил к Пифодору, одному из друзей Зенона, и, нередко слыша от Пифодора беседы, какие некогда вели Сократ, Зенон и Парменид, припоминает их.

– Ты говоришь правду, – промолвил он.

– Так мы желаем переслушать их, – сказал я.

– Это не трудно, – продолжал он. – Антифон в ранней молодости очень много занимался ими, хотя теперь-то, по примеру деда, своего соименника, занимается по большей части верховой ездой^[5]. Если надобно, пойдем к нему; он недавно пошел отсюда домой, а живет он близко, в Мелите^[6].

Сказав это, мы пошли и застали Антифона дома отдававшим слесарю исправить какую-то узду. Когда отпустил он слесаря, братья сказали ему, зачем мы пришли. Антифон узнал меня, не видев со времени первого моего приезда в Афины, и обнял. Мы стали просить пересказать нам те беседы; но он сперва отказывался, – дело, говорит, большое; однако ж потом рассказал.

По словам Антифона, Пифодор говорил, что некогда Зенон и Парменид пришли на великие панафиинеи^[7]. Парменид был уже очень стар^[8], совершенно сед, но на вид красив и показен, имел от роду около шестидесяти пяти лет; а Зенон был тогда лет почти сорока, росту высокого и приятной наружности. Про него рассказывали, что он был любимцем^[9] Парменида. Квартировали они, говорил, у Пифодора, в Керамике, что за стеною. Сюда-то пришли и Сократ, и многие другие с ним, кому хотелось послушать сочинения Зенона, которые тогда в первый раз были принесены ими. Сократ был в ту пору очень молод. Зенон сам стал читать^[10] свои сочинения, а Пармениду случилось выйти вон. И оставалось дочитать еще немного из тех книг, – как, по рассказу Пифодора, вошел со двора и сам он, и с ним Парменид и Аристотель^[11], впоследствии один из «тридцати», так что лишь немного пришлось им прослушать из написанного; впрочем, сам-то Пифодор уже прежде слушал Зенона.

Прослушав сочинение, Сократ просил снова прочитать первое положение первой книги и, когда оно было прочитано, сказал:

– Как ты говоришь, Зенон? Если существующее есть многое, то оно должно быть вместе – и подобное, и не подобное? Но этого не может быть, ибо ни неподобному нельзя быть подобным, ни подобному – неподобным^[12]. Не так ли ты говоришь?

– Так, – отвечал Зенон.

– Если же невозможно, чтобы неподобное было подобным и подобное – неподобным, то не может быть и многое; ведь если бы было многое, то оно испытывало бы то, что невозможно. Не этого ли хотят твои книги? Не иного чего, то есть, хотят они, как, вопреки всему, что говорится^[13], спорить, что многого нет? И доказательство этого самого представляет у тебя, думаешь, каждая книга; так что, по твоему мнению, предложено у тебя столько доказательств тому, что многого нет, сколько написал ты книг. Так ли ты говоришь или я неправильно понимаю?

– Нет, – сказал Зенон, – ты хорошо уразумел все сочинение, чего оно хочет.

– Я замечаю, Парменид, – продолжал Сократ, – что этот Зенон хочет угодить тебе не только другими знаками дружбы, но и сочинением; потому что он написал в некотором роде то же, что и ты, и только ловким изворотом старается обмануть нас, будто говорит что-то другое. Ты в своих поэмах полагаешь, что все есть о дно, и приводишь на то прекрасные доказательства; а этот утверждает, что существующее не есть многое, и тоже представляет много весьма сильных доказательств. Итак, у одного из вас полагается одно, у другого – не многое, и оба вы выражаетесь так, что, говоря почти то же самое, по-видимому, не высказываете ничего тождественного. Такой способ выражений, кажется, выше наших понятий.

– Да, Сократ, – сказал Зенон, – но истину сочинения ты постиг не вполне, хотя, будто лакедемонский щенок^[14], хорошо преследуешь и ловишь чутьем читаемое. От тебя, во-первых, утаилось, что мое сочинение вовсе не так заносчиво, чтобы задаваться задними мыслями, о которых ты говоришь, как будто бы, то есть, я совершал что-то важное, скрывая это от людей. Затем, ты привел это как побочный вывод, но это и есть настоящая цель моего сочинения – оказать некоторую поддержку положению Парменида против тех, которые решаются смеяться над ним, говоря, что если есть одно, то положению его приходится вынести много и смешного, и противоречивого. Так это сочинение дает отпор тем, которые допускают многое, и воздает им тем же и еще большим, стараясь показать, что гораздо смешнее окажется собственное их положение, будто есть многое, чем положение об одном, если кто будет достаточно последователен. Из такого рода задора я писал еще в молодости; но мое писанье кто-то похитил, так что не было места и вопросу, выпускать ли эти книги в свет или нет. Так вот в чем ошибся ты, Сократ: что мое сочинение, ты думаешь, написано не из юношеского задора, а из честолюбия более зрелых лет. Впрочем, что я в нем говорил-то, ты схватил не худо.

– Я принимаю это, – промолвил Сократ, – и полагаю так, как ты говоришь. Но скажи мне вот что: не думаешь ли ты, что есть некоторый вид подобия сам по себе^[15], и есть опять иной, такому виду противный, то есть действительно неподобный? и что этим двум видам причастны и я, и ты, и все прочее, что мы называем многим? И то, что принимает подобие, не делается ли подобным так и настолько, насколько принимает, что неподобие – не подобным, а что то и другое – тем и другим? Да что удивительного, если даже и все принимает эти противности, – ту и другую, и, став причастно обеих, может быть подобным и не подобным само себе? Ведь если бы кто объявил, что само подобное бывает неподобным, или неподобное – подобным, то это было бы, думаю, чудовищно: напротив, если бы захотел кто утверждать, что вещи, причастные обеих этих крайностей, принимают свойства той и другой, то, мне кажется, Зенон, тут не было бы ничего странного, – как и в том-то, если бы кто сказал, что все есть одно чрез причастность одному, и то же самое есть опять многое чрез причастность множеству. Но как скоро начнут доказывать, что одно само в себе – это именно есть многое, и, наоборот, многое – одно, то я уже удивлюсь. То же самое и в отношении прочего: если, то есть, объявляют, что самые роды и виды заключают в себе эти противные свойства, этому можно удивиться. А когда будет кто доказывать, что я, напр., вместе и одно, и многое, – что тут удивительного? В этом случае, желая выставить многое, он сказал бы, что я представляю иное с правой стороны и иное с левой, иное спереди и иное сзади, иное также сверху и иное снизу, – ибо я причастен, думаю, множества; а выставив одно, скажет, что между нами семерыми, как человек, я – один, – ибо

причастен и одного; так что справедливо скажет и то и другое. Итак, кто пытался бы такого рода предметы представлять как одно и многое, – камни, деревья и прочее, – тот, мы скажем, доказывал бы многое и одно, – но не одно как многое, и не многое как одно, – не что-нибудь удивительное утверждал бы он, а то, в чем все мы можем соглашаться. Но если бы он, как говорил я сейчас, взял, во-первых, виды особо сами по себе^[16]. – как то: подобие и неподобие, множество и единство, стояние и движение и все такое, – потом объявил бы, что они могут между собою смешиваться и разделяться; то я, говорит, чрезвычайно обрадовался бы, Зенон. Твоя мысль, я нахожу, обработана весьма стойко; но этой, полагаю, обрадовался бы я более: если бы кто то же самое недоумение – как вы усматриваете его завитым в вещах видимых – мог показать и в тех, которые подлежат рассудку, различным образом завитое в самых видах^[17].

Пифодор, по его словам, думал, что, когда Сократ говорил это, Парменид и Зенон при каждой мысли должны были питать досаду; а они очень внимательно слушали его и, часто взглядывая друг на друга, улыбались с выражением удивления Сократу. И вот, как только прекратил он свою речь, Парменид сказал:

– Сократ, твоя ревность к исследованиям достойна удивления. Но скажи мне: сам ли ты так различил, как говоришь, особо – некоторые виды сами в себе, и особо – то, что им причастно?^[18] и кажется ли тебе само подобие чем-нибудь отдельным от того, которое есть у нас, равно как одно, многое и все; про что теперь слышал ты от Зенона?

– Кажется, – отвечал Сократ.

– И ты принимаешь, – спросил Парменид, – особый некоторый вид для таких явлений, как справедливое, прекрасное, доброе и все такое?

– Да, – сказал он.

– Что же? И вид человека, особый от нас и от всего такого, каковы мы^[19], – то есть некоторый самобытный вид человека, или огня, или воды?

– Касательно этих предметов, Парменид, – отвечал Сократ, – часто был я в недоумении, должно ли полагать о них то же, что о других, или иное.

– Не недоумеваешь ли ты и в отношении таких вещей, Сократ, – для них оно было бы и смешно, – каковы, например, волос, грязь, нечистота или что-либо иное, самое презренное и ничтожное: должно ли и для каждой из них полагать особый вид, отличный от того, что берем мы руками, или не должно?

– Никак, – отвечал Сократ, – в этих-то, что мы видим, то одно и есть: представлять еще некоторый вид таких вещей как бы не было слишком странно. Меня, впрочем, уже беспокоит иногда мысль, не вышло бы того же и со всем другим: но если остановлюсь на этом, я готов потом бежать из страха, как бы не провалиться и не погибнуть в какой-то бездонной болтовне. И вот, пришедши мышлением сюда, – к тем видам, о которых теперь только говорили, – я рассуждаю о них испытательно.

– Потому что ты еще молод, Сократ, – сказал Парменид, – и философия^[20] пока не охватила тебя, как охватит, по моему мнению, когда не будешь пренебрегать ничем этим. Теперь ты, по своему возрасту, смотришь еще на человеческие мнения. Скажи-ка мне вот что: тебе кажется, говоришь, что есть некоторые виды, от которых прочие вещи, по участию в них, получают свои названия; причастная, например, подобию становится подобною, величине – великою, красоте и справедливости – справедливою и прекрасною.

– Конечно, – сказал Сократ.

– Но каждая, воспринимающая вид, весь ли его воспринимает или часть? или восприятие возможно еще иное, помимо этого?

– Но какое же? – сказал он.

– Так думаешь ли, что весь вид, составляя одно, содержится в каждой из многих вещей, – или как?

- Да что же препятствует, Парменид, содержаться ему? – отвечал Сократ.
- Следовательно, будучи одним и тем же самым – во многих вещах, существующих особо, он будет содержаться во всех всецело и таким образом обособится сам от себя.
- Не обособится, – возразил Сократ, – как, например, день, будучи одним и тем же, в одно и то же время находится во многих местах, и оттого нисколько не отделяется сам от себя; так, может быть, и каждый из видов содержится во всем, как один и тот же.
- Куда любезен ты, Сократ, – сказал Парменид, – что одно и то же полагаешь во многих местах, – все равно как если бы, закрыв завесою многих людей, говорил, что одно находится на многих всецело. Или не это, думаешь, выражают твои слова?
- Может быть, – отвечал он.
- Так вся ли завеса была бы на каждом, или части ее – по одной?
- Части.
- Стало быть, и самые виды делимы, Сократ, – сказал Парменид, – и причастное им должно быть причастно частей, и в каждой вещи будет уже не целый вид, а всегда часть^[21].
- Представляется, конечно, так.
- Что же? захочешь ли утверждать, Сократ, что вид как одно у нас действительно делится и, делясь, все-таки будет одно?
- Отнюдь нет, – отвечал он.
- Смотри-ка, – продолжал Парменид, – если ты будешь делить самую великость, и каждый из многих больших предметов окажется велик ее частью, которая меньше самой великости, – не представится ли это несообразным?
- Конечно, – сказал он.
- Что же? каждая вещь, получив какую-нибудь часть равного, – которая меньше в сравнении с самым равным, – будет ли заключать в себе нечто, чем сравнивается с какою-либо вещью?
- Невозможно.
- Но положим, кто-либо из нас примет часть малости: сама малость будет больше ее, так как это ее часть. И тогда как сама малость окажется больше, то, к чему приложится отнятое, станет, напротив, меньше, а не больше, чем прежде.
- И этого-то быть не должно, – сказал Сократ^[22].
- Каким же образом, Сократ, – спросил Парменид, – все прочее будет причастно у тебя видов, когда не может принимать их ни по частям, ни целыми?
- Клянусь Зевсом! – отвечал Сократ. – Такое дело, мне кажется, вовсе не легко решить.
- Что же теперь? Как ты думаешь вот о чем?
- О чем?
- Я полагаю, что ты каждый вид считаешь одним по следующей причине. Когда покажется тебе много каких-нибудь величин, ты, смотря на все их, представляешь, может быть, одну какую-то идею, и отсюда великое считаешь одним^[23].
- Это правда, – сказал он.
- А что само великое с прочими величинами? Если таким же образом взглянешь душою на все, не представится ли опять одно великое, чрез которое по необходимости все это является великим?
- Вероятно.
- Стало быть, тут представится иной вид великости, происшедший независимо от самой великости и от того, что причастно ей, а над этими всеми – опять другой, по которому выйдут велики эти, – и каждый из видов уже не будет у тебя один, но откроется их бесконечное множество.

– Но каждый из видов, Парменид, – заметил Сократ, – не есть ли мысль?^[24] А мысли негде больше быть, как в душах: так-то каждый остался бы, конечно, одним и не подвергался бы уже тому, о чем сейчас было говорено.

– Так что же? – спросил Парменид, – каждая мысль будет одно, но мысль – ни о чем?

– Но это невозможно, – отвечал он.

– Значит, о чем-нибудь?

– Да.

– Существующем или несуществующем?

– Существующем. Не об одном ли чем, что мыслится как присущее всему и представляет одну некоторую идею?^[25]

– Да.

– Так не вид ли будет это мыслимое одно, всегда тождественное во всем?

– Является необходимым.

– Что же теперь? – спросил Парменид, – если все прочие вещи причастны, говоришь, видов; то не необходимо ли тебе думать, что либо каждая вещь относится к мыслям и все мыслит, либо относящееся к мыслям несмысленно?

– Но и это не имело бы смысла, – отвечал он. – Впрочем, мне-то, Парменид, скорее всего представляется так: эти виды стоят в природе как бы образцы, а прочие вещи подходят к ним и становятся подобиями^[26]; так что самая причастность их видам есть не иное что, как уподобление им.

– Но когда что подошло к виду, – сказал Парменид, – может ли тот вид не быть подобным уподобившемуся, насколько что ему уподобилось? Или есть какая-нибудь возможность подобному не быть подобным подобному?

– Нет.

– Но подобному с подобным не крайне ли необходимо быть причастным одного и того же вида?

– Необходимо.

– А то, чего причащаясь, подобное становится подобным, – не будет ли это именно тот вид?

– Без сомнения.

– Следовательно, невозможно, чтобы нечто уподоблялось виду, вид же уподоблялся иной вещи; а не то^[27]. – помимо вида всегда явится иной вид, и если этот будет подобен чему-нибудь, – опять иной, и никогда не перестанет представляться новый вид, как скоро вид становится подобным тому, что причастно^[28] его.

– Ты говоришь весьма справедливо.

– Стало быть, вещи делаются причастными видов не подобием: надобно искать чего-нибудь иного, чем условливается эта причастность их.

– Вероятно.

– Так видишь ли, Сократ, – сказал Парменид, – сколько возникает затруднений, когда кто допускает бытие видов как бы самих по себе?

– И очень.

– Знай же хорошо, – продолжал он, – что до сих пор ты, просто сказать, и не подозреваешь, как велика в этом случае трудность, если что-либо из вещей существующих, постоянно их разграничивая, будешь полагать как один^[29] вид.

– Как это? – спросил Сократ.

– Тут много и другого, – сказал Парменид, – но самое важное вот что. Если бы кто сказал, что такие виды, какими они, говорим, должны быть, даже не доступны и для познания; то говорящему это никто не мог бы доказать, что он лжет, – кроме того случая, если возражающий

против такого положения окажется человеком обширной опытности и хороших дарований и будет расположен следовать за многими и издалека взятыми в пользу положения доказательствами; иначе настаивающий, что виды не подлежат познанию, был бы непобедим.

– Почему же, Парменид? – спросил Сократ.

– Потому, Сократ, что и ты, и другой, полагающий бытие некоторой самой по себе сущности каждого явления, прежде всего допустит, думаю, что у нас нет^[30] ни одной из них.

– Иначе как же была бы она сама по себе? – спросил Сократ.

– Хорошо сказано, – продолжал он. – Значит, все, какие есть, идеи, находясь во взаимном отношении, имеют сущность сами для себя, а не для тех, что у нас, подобий^[31], – или как иначе назовут их, – которым, будучи их причастны, мы придаем отдельные имена. Находящиеся же у нас, будучи одноименны с теми, существуют опять сами для себя, а не для видов, и относятся к себе, а не к тем видам, которые одинаково с ними наименованы.

– Как ты говоришь? – спросил Сократ.

– Положим, например, – сказал Парменид, – кто-нибудь из нас – господин или слуга: слуга есть слуга не самого по себе господина, – как мы разумеем господина, – и господин есть господин не самого слуги, – как разумеем слугу, – но оба они – в отношениях человека к человеку; самое же господство есть то, что есть, в отношении к самому же рабству, как и самое рабство – к самому господству^[32]. Так ни то, что у нас, не имеет значения по отношению к тем, ни те – к нам; но те, говоря, относятся сами к себе и существуют для себя, а находящееся у нас, подобным же образом, – для себя. Или ты не понимаешь моих слов?

– Очень понимаю, – отвечал Сократ.

– Поэтому и знание, – продолжал Парменид, – само знание, как оно есть, должно быть знанием самой той истины, как она есть.

– Конечно.

– И каждое частное опять знание, как оно есть, должно быть знанием каждой сущности, как она есть^[33]. Или нет?

– Да.

– А знание, что у нас, не относится ли и к истине той, что у нас? И каждому опять знанию у нас не приходится ли быть знанием каждой сущности у нас?

– Необходимо.

– Между тем самых-то видов, как ты соглашаешься, и не имеем мы, и невозможны они у нас.

– Конечно нет.

– Но самим в себе видом знания познаются, вероятно, и сами в себе роды, каждый как он есть.

– Да.

– А вида-то мы не имеем.

– Нет.

– Стало быть, нами-то не познается ни один из видов, так как мы не причастны самого знания.

– Походит, что нет.

– Следовательно, не познаваемо для нас и само прекрасное, как оно есть, и доброе, и все, что разумеем мы как идеи сами в себе.

– Должно быть.

– Но, смотри, еще ужаснее этого вот что.

– Что такое?

– Подтвердишь ли ты или нет? Если есть какой-нибудь самый род знания, то не гораздо ли совершеннее он, чем знание у нас? Так и красота, и все прочее.

– Да.

– Поэтому, как скоро что иное причастно сего знания, то кому больше, как не Богу, приписал бы ты знание совершеннейшее?^[34]

– Необходимо.

– Но Бог, имея само знание, будет ли в состоянии знать то, что у нас?

– Почему же не быть?

– Потому, – сказал Парменид, – что ни те виды, как мы согласились, Сократ, не имеют значения, какое имеют, по отношению к тому, что у нас, ни то, что у нас – по отношению к ним, – но что то и другое относится само к себе.

– Да, согласились.

– Посему если у Бога – само совершеннейшее господство и само совершеннейшее знание, то ни господство их никогда не могло бы над нами господствовать, ни знание их не могло бы нас, или что иное у нас, знать. Как мы не начальствуем над ними действующим у нас начальствованием и не знаем ничего божественного нашим знанием; таким же образом и они, – если боги, то не господа наши и не знают человеческих дел.

– Но не слишком ли странно будет это положение, – сказал Сократ, – если кто Богу откажет в знании?

– Однако ж это, Сократ, – продолжал Парменид, – и весьма многое иное кроме этого необходимо связано с видами, если они суть идеи существенностей, и если будем каждый из них определять как что-то само по себе; так что слушатель станет недоумевать и сомневаться: есть ли в самом деле такие виды, а когда они непременно есть, то ведь крайне необходимо быть им для природы человеческой не познаваемыми. И кто так говорит, тому не только кажется, что он судит здраво, но даже, как мы сейчас сказали, удивительно было бы, если бы говорящего это можно было переуверить. Надо быть человеком очень даровитым, чтобы уразуметь, что есть некоторый род каждой вещи и сущность сама по себе; но еще более удивительным, чтоб и открыть самому, и суметь наставить другого, разобрав все это достаточно.

– Я уступаю тебе, Парменид, – сказал Сократ, – потому что слова твои мне очень по мысли.

– Между тем, Сократ, – продолжал Парменид, – если уже кто, смотря на все, что было теперь говорено, и на другое подобное, не допустит, чтоб были виды существенностей, и не будет определять вида для каждой вещи, то, не допуская идеи каждой из существенностей как идеи всегда тождественной, он и не найдет, к чему направить свою мысль, – и таким образом совершенно упразднит возможность собеседования^[35]. Это, мне кажется, ты больше всего чувствовал.

– Правда, – сказал Сократ.

– Что же ты будешь делать по философии? Куда направишься, когда не знаешь этого?

– В настоящую-то минуту представляю не так ясно.

– Рано же, значит, Сократ, – сказал Парменид, – браться определять, что такое прекрасное, справедливое, доброе, и каждый отдельный вид, – не упражнявшись наперед в этом. То же ведь заметил я и прежде, когда слушал здесь твой разговор с этим Аристотелем. Так знай хорошо, прекрасное и божественное дело – иметь такое стремление к рассуждениям, какое ты имеешь: но, пока молод, сдержись и упражняй себя больше посредством той бесполезной на вид болтовни, – как ее называет большинство^[36]; – а не то истина будет убегать от тебя.

– Но каким способом упражняться, Парменид? – спросил Сократ.

– Таким, – отвечал он, – о каком ты слышал от Зенона. Впрочем, тому-то я очень обрадовался, что ты сказал ему, – что, то есть, не позволяешь себе держаться в видимом и здесь искать обмана^[37], но восходишь к тому, что схватывает кто-нибудь особенно умом и почитает видами^[38].

– Потому что таким-то образом^[39], – сказал Сократ, – не трудно, мне кажется, доказать, что существующее бывает подобно и не подобно и принимает какое бы то ни было иное качество.

– И хорошо, – промолвил Парменид, – но сверх того надобно делать и следующее: предположив бытие чего-нибудь, не только наблюдать, что вытекает из предположения, но с тою же целью предполагать и небытие, если хочешь доставить себе больше упражнения.

– Как ты говоришь? – спросил Сократ.

– Возьми, например, если хочешь, то самое предположение, – сказал Парменид, – какое сделал Зенон. Пусть будет многое: что должно произойти с самим многим и в отношении к нему, и в отношении к одному, и что – с одним, в отношении к нему самому и ко многому? Пусть опять не будет многого: то же наблюдай, – что произойдет с одним и со многим как в отношении их к самим себе, так и в отношении одного к другому. Таким же образом опять, если будет предположено бытие или небытие подобного, – смотри, что выйдет из того и другого предположения как для самых предметов предположенных, так и для другого в отношении их к себе и в отношении взаимном. Это же самое и о неподобном, о движении и стоянии, о рождении и разрушении, и о самом бытии или небытии. Одним словом, что бы ни было тобою предположено как существующее или несуществующее, либо имеющее какое-нибудь иное свойство, – надобно наблюдать, что произойдет для самого этого, и для отдельной единичности, которую ты предызбрал, и для большего числа их, и для всех. Так и прочее, подобно этому, должно поставлять в отношение и к тому самому, и к иному, что ни было бы тобою предызбрано, – предположил ли ты нечто как существующее, что предположил, или как несуществующее, – если хочешь подготовить себя совершенным образом, чтобы точно различать истину.

– Об упражнении неодолимо трудном говоришь ты, Парменид, – сказал Сократ, – и я не совсем понимаю его: проведи пожалуйста этот способ сам, предположив что-нибудь, – чтобы я лучше понял.

– Ты, Сократ, навязываешь на меня, такого старика, большое дело, – промолвил Парменид.

– Так ты, Зенон, не проведешь ли нам его? – спросил Сократ.

А Зенон засмеялся, говорит, и сказал:

– Попросим-ка, Сократ, самого Парменида; ведь то, что он говорит, не безделица. Разве не видишь, какое затеваешь ты дело? Если бы нас было больше, просить и не годилось бы; ведь говорить об этом в присутствии толпы, особенно еще такому старику, неприлично, так как толпа не знает, что без такого рода околичностей и пересудов обо всем невозможно добраться до истинного взгляда. Так я, Парменид, вместе с Сократом прошу тебя о том, – чтобы и самому мне после долгого времени тебя послушать.

Когда Зенон выразил это, говорил Антифон, стали, по словам Пифодора, просить Парменида и сам он, и Аристотель, и другие, чтобы он подтвердил опытом, что говорит, и не уклонялся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.